

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ КОСТРОМА...»

Почему-то принято считать, что Василий Васильевич Розанов не любил Кострому. Мнение это основывают на некоторых горьких словах, пророненных писателем о Костроме, где прошло его детство. Дескать, и дождь-то тут шел с утра до вечера, и «вотчим» драл за курение, и нищета была беспросветная, и штаны – вечно мокрые – оттого что приходилось все время поливать грядки и парники.

Розановым сказано множество горьких слов и о России. Кто на основании этого возьмется утверждать, что Розанов не любил Россию?..

Убедительнее всего опровергает тезис о розановской нелюбви к Костромской земле сам Розанов. Достаточно всего лишь внимательно прочитать его произведения.

Из населенных пунктов нынешней Костромской губернии писатель в своих сочинениях чаще других мест упоминает Чухлому, Нерехту и, естественно, Кострому.

Чухлома для Розанова – это воплощение дохристианской, языческой Руси. Руси, еще не преодолевшей свою мерянскую суть. Однако язычество это «добродетельное», домашнее, симпатичное. Оно пахнет деревом, костерком и хлебом. Не случайно чиновника особых поручений при Константине Победоносцеве Василия Скворцова, занимавшегося делами духовоборов, писатель называл «язычником немного чухломского покроя». «Чухломской покроей» Скворцова состоял в том, что он не был чиновником-формалистом, догматиком. Его миссионерское рвение проистекало не из гордого презрения к иноверцам и «еретикам», а из благодушного желания весь мир зазвать к себе «на именинный пирог». Об одном иностранце, решившем обосноваться в России, Розанов иронично замечал, что тот сделался настолько русским, как если бы «его родила московская попадья и сам он женился на чухломской поповне». Кондовая, ветхозаветная суть Чухломы такова, что применять здесь идеи социал-демократии не более продуктивно, чем строить «конституционное» государство на луне. Есть у Розанова словосочетание «чухломской революционер». Так писатель прошелся по социалистам, которые в силу своей умственной, душевной и эстетической темноты не смогли в Евно Азефе разглядеть заведомого провокатора. Есть у Розанова и «чухломской бог». Речь идет о Николае Чернышевском, а если брать шире – о невежественной революционной «черни», которая пытается подменить собой подлинное самодержавие. В служении «чухломскому богу» Розанов уличал Владимира Соловьева, Николая Михайловского, Дмитрия Мережковского, Максима Горького. Ох, не там, не там они искали объект для поклонения!

«Чухломской» для Розанова синонимично понятию «прарусский». Изъяном славянофильства – при всей симпатии к нему – Розанов считал то, что оно не способно «вернуться в Чухлому» – то есть в деревню, в леса и поля, к «первым попам при Владимире Святом»...

Розанов благоговейно любил Нерехту. Называл ее – наряду с Плесом, Юрьевцем, Макарьевом – «церковным городом», имея в виду, что в маленьких

русских городах церковка – это и центр духовной жизни, и главная историческая достопримечательность: «Тут провинциальный наш вкус, тот милый вкус, который дал кружево и аромат таким приволжским созданиям, как, например, «Обрыв» Гончарова». Василий Васильевич считал, что вряд ли даже в Москве сыщутся такие прекрасные церкви, как в Нерехте. «Вечно бы молился в этом храме», – признавался он.

Любовь Розанова к малым городам не имеет ничего общего с русофильским умилением перед ветхостью и патриархальностью. Розанов – убежденный противник квасного патриотизма. По его мнению, следование заветам старины должно соединяться с деловитостью и добросовестностью. Настоящим русским патриотом Розанов считал публициста Владимира Петерсена – немца по корням, лютеранина, перешедшего в православие. Василий Васильевич называл Петерсена «Пруссией, поклонившейся нерехтским кампанилам». Нужно, говорил Розанов, чтобы в России было побольше мастерских, фабрик, контор, лавочек, базаров, чтобы торговые ряды были «погуще» (хотя бы как в Костроме!). Тогда и люди будут жить лучше, и социалистические идеи из моды выйдут.

Писатель любил Нерехту еще и потому, что отсюда родом была Елизавета Дьяконова (1874 – 1902), автор знаменитого «Дневника» – эту книгу Розанов называл одной из «прелестнейших книг русской литературы за весь XIX век». Словом «нерехтский» Розанов особенно охотно пользуется тогда, когда речь заходит о нуждах и возможностях русской глубинки. Так, говоря о неэффективном управлении, Розанов замечал, что не дело Государственного Совета заниматься назначением помощника исправника в Нерехте или Ветлуге...

Кострому Василий Васильевич более чем любил.

В необъятном творческом наследии Розанова проще назвать произведения, где *не используются* костромские мотивы. Например, их нет в «Возрождающемся Египте», что, в общем-то, странно, поскольку мыслитель считал «обонятельную» и теплую древнеегипетскую культуру близкой русской культурной традиции. Позже Розанов сознавался, что Египет (как, вероятно, и все остальное) он открыл «внутри себя». Это напрямую связано с костромскими впечатлениями и переживаниями будущего писателя. Именно в Костроме Розанов впервые прикоснулся к священной тайне пола: он вынужден был еще несмышленным ребенком ухаживать за матерью, хворавшей «женской» болезнью. Из печального детского опыта выростала самобытная розановская философия, основанная на связи между движением семени в фаллосе и трансцендентными началами бытия, между полом и космогонией.

Невеселые детские впечатления (нищета, носка навоза на грядки, зарезанная корова-кормилица) формировали умустрой художника, который не стыдится быть таким, каков он есть, не боится выказать жалость и страх, житейскую неловкость и угловатость.

В 1913 году Розанов, «перебрав в пепельнице окурки и вытряхнув в коробку свежего табаку» (такая сделана ремарка), записал в дневнике: «Отчего я так люблю его (детство). Такое дождливое, тягучее, осеннее детство?». Понятно – отчего. Оттого что из этого тоскливого детства произрастает сам Розанов (тот гениальный Розанов, которого знают сегодня все читающие люди). Этими соками

питается его понимание жизни, его религия семьи, его самобытный творческий метод, его писательское бесстрашие.

«Костромской» – едва ли не самое распространенное в розановском лексиконе прилагательное, образованное от топонима. Оно используется писателем реже, чем «русский», но чаще, чем «московский» или «петербургский». Естественно, указывает слово «костромской» не столько на территориальную принадлежность, сколько на некую ментальную, культурную сущность. Кострома часто упоминается вместе с Тамбовом, Тулой и другими русскими городами. Однако какой бы состав и какую бы конфигурацию ни имели эти лексические ряды, Кострома обязательно присутствует там как некое смысловое ядро. «Костромской» для Розанова – значит типично великорусский, архирусский – если угодно. Говоря о народном мироощущении Николая Некрасова, Розанов замечал, что поэта «невозможно представить» уроженцем какой-нибудь другой губернии, кроме четырех смежных: Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской. Эта родовая связь объясняет многое. В «Уединенном» Кострома упоминается Розановым как синоним всего безусловно-настоящего, «конкретного», «жизненного». «Конкретному» костромскому мужику должно найтись место и в Государственной Думе: пообтесавшись, попривыкнув к новым политическим реалиям, он способен быстро преобразиться из «обывателя» и «серяка» в гражданина. А уж в том, что мужик этот не уронит свое человеческое достоинство, Розанов и вовсе не сомневается.

Иногда определение «костромской» призвано подчеркнуть ту «нищету», что оказывается благороднее внешнего педантичного и холодного аристократизма. Комментируя убийство черносотенцами депутата I Думы кадета М.Я. Герценштейна, Розанов, отнюдь не симпатизируя пострадавшему, возмущался тем, что убивали трусливо, из-за угла. Почему ему, вышедшему «из последней бедности костромской», понятна злодейская суть случившегося (если уж стрелять, то открыто – прямо в зале заседаний!), а организовавшим покушение дворянам – нет?

В 1905 году, в пору полевеия розановских настроений, значение слова «костромской» корректировалось: в нем уже ощущалось нечто махрово-консервативное, косное. История, писал тогда Розанов, сделалась скучна и монотонна, «точно архиерейские певчие в Костроме».

В Петербурге Розанов страшно тосковал об огурчиках – тех самых, которые ел в Костроме (наверное, в тех жутких парниках они и выросли). В столичных лавках овощи были безвкусные, пустые. Только потом с помощью Анны Ивановны Сувориной он добыл нужный адресок, где продавали отличные огурчики.

Однажды в Пятигорске Розанов решил посетить дом, в котором когда-то жил Лермонтов. Новым хозяином дома оказался пожилой человек с внешностью «Максима Максимовича в старости». Когда Василий Васильевич вошел в жилище, то сразу же ощутил, как «пахнуло старой Великороссией». С удивлением он обнаружил в красном углу огромный образ Феодоровской Божьей Матери – охранительницы Костромы. Оказалось, что старик – костромич по рождению. «Само собою, – вспоминал Розанов, – все преграды и отчужденности пали, когда

и я в хозяине, и он в госте узнали залетных птиц с севера, в сущности, из одного гнезда. Мы обнялись и поцеловались». Согласитесь, такая трогательная встреча никак не вяжется с представлениями о Костроме как о чем-то ненавистном Розанову и тягостном для него.

Особый предмет розановских размышлений – Волга. Писатель говорит о «значительном и гордом» волжском патриотизме. Мне, как волжанину, знакомо то чувство, о котором пишет Розанов. Нам действительно кажется, что там, где нет Волги, нет и России, «или что Россия там ненастоящая». Волге писатель посвятил книгу очерков под названием «Русский Нил». Идейный стержень книги: в великой русской реке кроется мощная виталистическая сила, а волжский ветерок способен проветрить самые дурные головы. Монархист Розанов рад пожать руку социалисту, который осматривает грандиозные храмы и сфинксов Египта с мыслью, что на берегах русской Волги могли бы стоять «не худшие». Писатель верил, что когда-нибудь Волга станет для русских тем, чем был Нил для египтян во времена великих фараонов.

С Волгой связана розановская философия исцеляющего поцелуя: до одного человек апатичен и немощен, после поцелуя – здоров и жизнерадостен: «И все впадает в “Волгу”... О ней – молчание. Есть ли речи? Кто говорит?

<...>. Выздоровливаю. Исцеляюсь. Пью йод. Странно рассуждать: конечно, пей.

И из Волги, и из Ветлуги, маленькой речки; из родничка, в горах, а где случится – из канавки!

Однажды я увидел странника: он пил из-под *лошадиного копыта* (углубление). И та вода была благословенна.

О чем этот странный монолог? Об исцеляющей силе любви. Образ странника, склонившегося над углублением, оставленным лошадиным копытцем, наполнен для писателя особым смыслом. Умей радоваться малому! Любовь может быть Волгой, а может – «водичкой из канавки». Однако тоже утоляет жажду, прогоняет усталость и сон. Кто-то посвятит возлюбленной многословное канцоньере. Кто-то поможет женушке надеть домашние туфли. Где больше любви?

От нелюбви вся ненависть, что в нас есть. От ненависти все наше несчастье. В «Последних листьях» Розанов объясняет природу своей юношеской ненависти к учебе, учителям, Костроме, «которая ни в чем не была виновата, кроме того что “стояла на р. Костроме” (география)». Дело в том, что в жизни будущего писателя не было любви. Той любви, доказывая которую не нужно резать вены и выбрасываться из окна. Не было простого сердечного участия. Не было тихой семейной радости. Только познакомившись в Ельце с семейством Рудневых-Бутягиных (Варвара Бутягина стала второй женой Розанова), писатель понял, что такое счастье. И сразу полюбил весь мир. Кострому, естественно, тоже. Точнее, он понял, что никогда не переставал любить ее. Так что, как это ни банально, мир стоит на любви: «И еще и окончательно: будем, господа, любить!!!». Наверное, Розанов оценил бы битловскую «All You Need Is Love». Этот консерватор вообще был страшным неформалом.

Образ Волги помогает Розанову прояснить природу собственного писательского дара, который Василий Васильевич оценивал вполне объективно: с 1882 года «ни одной вялой, безжизненной, плетущейся строки». Нескромно? Зато в целом верно. Чем объяснить такое творческое горение? Да тем, что «дров запасено» много: «Целая барка, “беляна”, как на Волге, и еще – дрова, дрова, березовые, чтобы ярко пылали. Елового – ни одного». А «откуда дровишки»? Из Костромы, вестимо...

Оттуда, из костромского детства – очарованность подвигом Ивана Сусанина. В «Опавших листьях» Розанов вспоминал о своих детских ощущениях: «И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков». Подвиг костромского крестьянина Розанов часто ставит в пример политическим деятелям, скорым на слово, но не на дело. Критикуя крайне правых за склонность к пышной фразеологии и ненужной шумихе, Розанов писал: «Титул “Сусанина” они берут себе. Труда Сусанина еще не взял никто». Критикуя однобокий, схоластический подход к школьным программам, писатель замечал: гимназисты знают, сколько у человека позвонков, но не имеют представления о ключевых моментах русской истории, в частности о том, как Сусанин спас царскую семью. Беседуя с противниками думской монархии, он убеждал, что не собирается «переманивать» их от монументов Сусанина или Минина на «митинг путиловцев», однако игнорировать новые идеи тоже считает недопустимым. Розанов всячески защищал Сусанина от ретивых охотников усомниться в историчности его подвига и в необходимости жертвовать собой ради монаршей особы.

Даже в дружбе Розанов (вольно или невольно) отдавал предпочтение тем, кто был так или иначе связан с Костромской землей. Потому близкими писателю людьми стали Николай Страхов, Петр Перцов, о. Александр Устьянский (с ним Розанов вел многолетнюю переписку, обсуждая принципиальную для себя семейную тему). На обороте фотографии протоиерея Устьянского Василий Васильевич сделал трогательную надпись, включавшую такие слова: «Он был весь – русский. Твердый. Ясный. Скромный... Ах: потом мы с ним вместе уродились в Костроме». Интересно, что в действительности А. Устьянский не был костромичом: как предполагают исследователи, он родился в городе Волхове. Однако духовное сродство двух мыслителей было таким сильным, что для Розанова «костромские корни» Устьянского не подлежали никакому сомнению: отец Александр мог быть только костромичом – а кем же еще!

Розанов ругал себя за то, что не помог сойтись двум крупнейшим русским издателям: Алексею Суворину и своему земляку Ивану Сытину («гениальный русский самородок»). Суворин и Сытин могли бы дополнить друг друга, избавить друг друга от поспешных и недальновидных шагов – и «тогда социалистики совсем отлетели бы в сторону...»

Особая тема – дружба Василия Розанова и Павла Флоренского. Оба они понимали масштаб личности друг друга и очень дорожили этим душевным общением. Казалось бы, что может быть общего у «нововременского» публициста – и священника, богослова-интеллектуала? Их объединяло отсутствие столичного

лоска, глубокая любовь к России, проистекающая из «костромского уездного начала». Потому в переписке для них не было запретных тем.

В «Апокалипсисе нашего времени» есть необычный по форме фрагмент, посвященный Павлу Флоренскому. Текст строится как диалог отца Павла с самим собой. Вот кусочек:

- И мои крови мешанные...
- И люблю я новую родину,
- Мою прекрасную Кострому...
- И мою дождливую Армению...
- Т.е. дождливую Кострому и горячую Армению.

Там, где речь идет о Костроме, бесспорно, слышится вкрадчивый голосок самого Василия Васильевича. Кому как не ему знать важные климатические и иные особенности этой местности, ибо сам он (плотью и кровью) – отсюда! В ноябре 1918 года (за два месяца до смерти) Розанов записал: «Одно было золото – сердце, ум у сопливого мальчика в Костроме».

Вот неоспоримый факт: два великих мыслителя России корнем своим считали Костромскую землю. Может быть, и неласкова и нерадостна эта земля, да, видно, напитана соками благодатными. Видно, здесь, под мелким костромским дождичком, под неярким северным солнышком, хорошо русскому человеку мечтается-думается. Здесь он ощущает сопричастность свою русской истории, уходящей корнями в дославянское язычество, уводящей нас во времена князя Василия Ярославича и первых Романовых...

Любил ли Розанов Кострому? Мне кажется, на этот вопрос Василий Васильевич ответил более чем определенно...